
Пекарня
в Чухломе
Слова подо льдом

Пекарня в Чухломе

Милана Панова

Пекарня в Чухломе. Слова подо льдом

«Автор»
2026

Панова М.

Пекарня в Чухломе. Слова подо льдом / М. Панова — «Автор», 2026 — (Пекарня в Чухломе)

На Покров вся Чухлома пришла в загс: тётя Галя, главная болтушка города, выходит замуж за молчуна Пахома. «Согласны?» — спрашивает регистратор. А жених не может выдавить ни звука. Встаёт и уходит.Опозоренная невеста замолкает — впервые за семьдесят шесть лет. А потом узнаёт тайну. В 1953 году восьмилетний Пахом провалился под лёд, и Хозяин озера отпустил мальчика, но забрал себе его слова. Двести в год, по ледоставу. Сорок лет Пахом тратил их на неё — по одному в день. И теперь он в долгу у водяного на четырнадцать лет вперёд.А под Новый год в город возвращается бывший муж Гали — балагур с гармонью, полвека назад сбежавший с почтальоншей.В Крещенскую ночь тётя Галя спускается через прорубь к Хозяину озера, в хранилище несказанных слов. С собой у неё калач на озёрной воде, котёнок-провожатый и единственное оружие — язык, над которым сорок лет смеялся весь город.Уютное славянское фэнтези о любви, которой не нужны слова. Можно читать отдельно от серии.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. «Согласны?» 6
Глава 2. Рыба в газете 11
Глава 3. Тетрадь в клеточку 16
Глава 4. Ледостав 21
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Милана Панова
Пекарня в Чухломе. Слова подо льдом

Пекарня в Чухломе

Часть четвёртая

Слова подо льдом

Глава 1. «Согласны?»

На Покров в Чухломе всегда выпадает первый снег. Тётя Галя знала это семьдесят шесть лет подряд и ни разу не ошиблась, хотя синоптики по телевизору каждый год обещали то дождь, то «переменную облачность без существенных осадков». Синоптики сидели в Москве и ничего не понимали. А Покров — он и есть Покров. Богородица землю покрывает. Чтобы не мёрзла.

В этот раз снег пошёл в пять утра. Тётя Галя проснулась от тишины — от той особенной, ватной, мягкой тишины, какая бывает только при первом снеге, когда даже собаки на Затонной не лают, а прислушиваются. Встала. Сунула ноги в шерстяные носки. Подошла к окну. И сказала, не оборачиваясь, коту Барсику, который спал на её подушке, нагло растянувшись поперёк:

— Ну вот. Я ж говорила. А Зойка: «Не будет, не будет». Сто рублей с неё. Нет, двести. Потому что второй раз за год проигрывает, а за повтор у нас двойная ставка.

Барсик не ответил. Он вообще не разговаривал, в отличие от некоторых. Но ухом повёл. Тётя Галя считала, что этого достаточно: собеседник, который слушает и не перебивает, по нынешним временам редкость.

— И Пахом свой костюм не погладил, — продолжала она, ставя чайник. — Я его знаю. Скажет — в шкафу висел, не мялся. А он сорок лет в шкафу висел. Он там не мялся, он там окаменел. Его не гладить, его отбивать надо, как мясо. Я ему вчера говорю: давай поглажу. А он мне: «Не надо». Два слова. Экономит. — Она насыпала в чашку заварки, подумала и насыпала ещё. — Сегодня-то, небось, не сэкономит. Сегодня ему говорить придётся. «Да». Одно слово. Уж на одно-то слово наскребёт.

Чайник закипел. За окном снег валил всё гуще, крупными мокрыми хлопьями, похожими на рваную вату. Напротив, через улицу, в красном кирпичном здании пекарни горел свет в подвальных окошках — Варя уже ставила тесто. Над крышей пекарни поднимался дымок, прямой, как струна, и пах — тётя Галя чувствовала даже сквозь двойные рамы — ржаным, тёплым, праздничным.

Сегодня Варя пекла свадебный каравай. Для неё. Для Гали.

Тётя Галя села к окну с чашкой и некоторое время сидела молча. Это с ней случалось редко, и всякий раз она немного пугалась — как пугается человек, привыкший жить у шумной дороги, когда машины вдруг перестают ездить.

Семьдесят шесть лет. Первая свадьба у неё была в семьдесят четвёртом, в девятнадцать. С Колькой. В сельсовете, без фаты — фаты тогда не носили, считалось пережитком, — в мамином голубом платье, перешитом за ночь. Колька был весёлый, кудрявый, с гармошкой, пел так, что старухи плакали, и пил, как потом выяснилось, примерно так же. Пять лет она с ним прожила. А в семьдесят девятом он уехал в Буй с почтальоншей Зинкой и прислал оттуда открытку: «Галя, не поминай лихом». Открытку она сожгла в печке. А всем говорила, что Колька утонул на сплаве. Героически. Брёвна спасал.

Сорок лет говорила. Пока на прошлой Масленице Варя не накормила весь город льняным хлебом, от которого у людей правда сама изо рта лезет, — и тётя Галя, к собственному ужасу, не рассказала всё при всей Чухломе.

И тогда Пахом сказал, что любит её сорок лет.

Тётя Галя отпила чаю. Чай был крепкий, горький, как она любила.

Сорок лет. А она-то думала, он её терпеть не может. «Здорово, Фёдоровна». «Бывай, Фёдоровна». И всё. Двадцать раз мимо пройдёт — двадцать раз «здорово». Она ему пироги носила — он брал, кивал, молчал. Она ему про давление своё рассказывала, про племянника Виталика, про то, какая у Нинки Петровны новая причёска, — он слушал, кивал, молчал. Она думала: вот же сухарь. Бревно бесчувственное. Рыбу ловит, а сам как рыба.

А он, оказывается, слова копил. Чтобы сказать.

— Дура я, Барсик, — сказала тётя Галя коту. — Старая дура. Семьдесят шесть лет, а замуж собралась. Люди смеяться будут.

Барсик спрыгнул с подушки, подошёл, потёрся о её ноги. Тётя Галя почесала его за ухом.

— Да пусть смеются, — сказала она. — Им полезно. Смех — он для здоровья.

* * *

К девяти пришли сёстры Кукушкины. Обе — в одинаковых бордовых платьях с одинаковыми брошками, обе — с одинаковыми коробками в руках.

— Мы тебя одевать…

— …и причёсывать.

— Ты сама не сумеешь…

— …ты всё на бок завяжешь.

— У тебя всегда всё на бок.

— С пятого класса.

Тётя Галя хотела возразить, что ничего у неё на бок не бывает, но подумала и не стала. Кукушкиных переспорить было невозможно: они говорили вдвоём, а она одна, и пока она отвечала на первую фразу, вторая уже успевала задать новый вопрос.

Платье ей сшила Ася. Питерская Ася, которая прошлой зимой приехала в Чухлому с бабкиной швейной машинкой и коробкой старых писем, да так и осталась — теперь у неё на старом льнозаводе мастерская, «Поля», с вывеской, с девчонками, с прялками, всё как положено. Ася пришла к тёте Гале ещё в сентябре, встала на пороге и сказала:

— Тётя Галя. У меня один кусок остался. Вашей мамы. Самый первый, из сундука. Я его берегла. Можно я вам из него платье сошью?

Тётя Галя тогда ничего не ответила. Впервые в жизни не нашлась. Просто стояла в дверях и кивала, как дура, а Ася смотрела на неё и понимающе улыбалась.

Платье получилось серое, простое, длинное, с вышивкой по вороту — голубые льняные цветочки, их вышила Аня-библиотекарша, — и с маленьким карманом на груди. Ася всегда делала карманы. Говорила — мало ли что положить надо будет.

Тётя Галя надела платье. Посмотрела в зеркало. Из зеркала на неё глядела маленькая круглая старушка с красными щеками, в сером льне, с голубыми цветами у горла. Глаза у старушки были испуганные.

— Красавица, — сказала Зоя.

— Невеста, — сказала Тоня.

— Мама бы порадовалась, — сказала тётя Галя. И отвернулась от зеркала. Потому что глаза защипало, а плакать перед свадьбой — это к слезам в замужестве. Это все знают.

* * *

Загс в Чухломе был на втором этаже районной администрации, в бывшем кабинете не то экономиста, не то агронома — никто уже не помнил. Нина Петровна, глава района, лично распорядилась его украсить: на стенах висели бумажные голуби, на столе стояла ваза с пластмассовыми розами, а на окне — живая герань, которую тётя Галя принесла из дома ещё неделю назад, потому что пластмассовые розы — это для покойников, а не для свадьбы.

Регистратор приезжала из Галича. По четвергам. Покров в этом году пришёлся на среду, но для такого случая её привезли отдельно — Толик-таксист за полцены, потому что «Фёдоровна мне сорок лет пироги даёт, грех не привезти». Регистратора звали Римма Аркадьевна. Ей было лет пятьдесят, она носила бордовый костюм, высокую причёску, очки на цепочке и говорила таким голосом, будто зачитывала указ.

Народу набилось — не продохнуть.

Тётя Галя потом думала, что пол-Чухломы пришло. Варя с Матвеем и маленьким Саввой — Савве без малого исполнился год, он стоял, держась за мамин палец, и с большим интере-

сом разглядывал бумажных голубей. Антон в новом свитере. Ася со своим Арсением. Нина Петровна с мужем-фотографом, который снимал всё подряд. Игнат с Аней. Отец Никодим — девяносто три года, а пришёл, сидел в первом ряду на стуле с прямой спиной и улыбался в бороду. Племянник Виталик в пиджаке, который был ему мал. Сёстры Кукушкины. Валентина Ивановна из Судая. Кристина с Полинкой. Айтишники с Затонной в одинаковых галстуках.

Батон — и тот пришёл. Его принесла Ася в корзинке, хотя Батон из пекарни выходил неохотно, раза три в год, и каждый раз потом жаловался, что у него от свежего воздуха болит голова. Он сидел в корзинке на подоконнике, рядом с геранью, с голубым бантом на шее, и смотрел на всё это с выражением умеренного одобрения. Рядом с корзинкой примостился Сухарик — дымчатый, длинноногий, с огромными ушами, — и смотрел с выражением неумеренного любопытства.

А Пахом стоял у стола.

В костюме. Тётя Галя его всё-таки отгладила — вчера вечером, тайком, пока он был в бане. Костюм был тёмно-синий, шерстяной, старомодный, широкий в плечах, и пах нафталином так, что Римма Аркадьевна, подойдя, заметно поморщилась. Пахом в нём выглядел, как выглядел бы, наверное, корабельный мачтовый сосновый ствол, если бы его обрядили на выпускной. Высокий. Прямой. Неловкий. Борода расчёсана. Руки — огромные, узловатые, с обветренными костяшками — он не знал, куда деть, и то засовывал в карманы, то вынимал, то сцеплял за спиной.

Он увидел тётю Галю в дверях — и замер.

И смотрел. Так смотрел, что Кукушкины, стоявшие у неё по бокам, синхронно ахнули и синхронно отвели глаза.

Тётя Галя пошла к нему. Через весь зал. Восемь шагов. Она считала. Пахом бы одобрил — он всегда говорил, что считать надо точно.

— Дорогие брачующиеся, — начала Римма Аркадьевна торжественно, когда тётя Галя встала рядом с Пахомом. — Сегодня — самый важный день в вашей жизни…

— Ой, да ладно, — не удержалась тётя Галя. — Самый важный у меня был, когда я в восемьдесят седьмом трёхлитровую банку огурцов с антресолей себе на ногу уронила и не сломала. Вот это был день.

Зал засмеялся. Римма Аркадьевна посмотрела на неё поверх очков. Тяжело. Как смотрят учительницы на заднюю парту.

— …самый важный день в вашей жизни, — повторила она с нажимом. — Вы пришли сюда, чтобы скрепить свой союз…

Тётя Галя слушала вполуха. Она смотрела на Пахома. Он стоял, вытянувшись, глядя прямо перед собой, на пластмассовые розы. На скулах у него ходили желваки. Тётя Галя подумала — волнуется. Подумала — ну надо же. Восемьдесят шесть лет человеку, войну помнит, хоть и маленьким был, на озере сорок раз тонул, — а тут волнуется.

Она тихонько коснулась его руки. Пальцами. Рука была холодная, как у мертвеца, и мокрая.

— …и прежде чем я объявлю вас мужем и женой, — говорила Римма Аркадьевна, — я должна спросить вас. Является ли ваше решение добровольным, искренним и взаимным? — Она повернулась к тёте Гале. — Галина Фёдоровна. Согласны ли вы взять в мужья Пахома Никитича?

— Да! — сказала тётя Галя так громко, что вздрогнул отец Никодим. — Господи, да. Сорок лет как да. Чего спрашивать-то.

Опять смех. Даже Римма Аркадьевна улыбнулась — краешком губ, на миллиметр. Повернулась к Пахому.

— Пахом Никитич. Согласны ли вы взять в жёны Галину Фёдоровну?

Тишина.

Тётя Галя ждала. Все ждали. Савва, держась за Варин палец, перестал разглядывать голубей и уставился на Пахома.

Пахом открыл рот.

Ничего.

Закрыл. Сглотнул. Тётя Галя видела, как у него на горле дёрнулся кадык — вверх, вниз. Он открыл рот снова. Губы шевельнулись. Сложились в «Д». Тётя Галя видела это «Д» — ясно, отчётливо, как будто он нарисовал его в воздухе.

Звука не было.

— Пахом Никитич? — повторила Римма Аркадьевна.

Пахом закивал. Сильно, быстро, несколько раз подряд. Посмотрел на регистратора. Посмотрел на тётю Галю. Кивнул ей. И ещё раз.

— Мне нужно услышать ваш ответ, — сказала Римма Аркадьевна. Не строго. Скорее растерянно. — Устно. Таков порядок.

— Да он согласен! — крикнул кто-то из задних рядов. Кажется, Виталик. — Он же кивает! Чего ещё?

— Кивок не является выражением согласия, — отчеканила Римма Аркадьевна. Она, видимо, сама испугалась своего тона и добавила мягче: — Пахом Никитич. Одно слово. Пожалуйста.

Пахом стоял. Белый. Совсем белый — тётя Галя никогда его таким не видела, даже когда он лежал с сердцем позапрошлой осенью. Губы у него дрожали. Он снова открыл рот — и снова ничего. Ни звука. Ни хрипа. Как будто кто-то выключил ему голос, как выключают радио.

Он поднял руку и прижал её к горлу. И посмотрел на тётю Галю.

Этого взгляда она потом долго не могла забыть. Ни в тот вечер, ни через неделю, ни через месяц. В нём было столько всего — и отчаяние, и стыд, и мольба, и что-то ещё, чему тётя Галя не знала названия, — что ей захотелось заслонить его собой от всего этого зала, от бумажных голубей, от Риммы Аркадьевны с её порядком.

Но она не заслонила. Она стояла и ждала. Потому что всё-таки — ну одно же слово. Одно. «Да». Две буквы.

Пахом опустил руку.

Повернулся.

И пошёл к выходу. Через весь зал. Мимо стульев, мимо людей, мимо отца Никодима, который приподнялся ему навстречу и что-то сказал, мимо Вари с Саввой, мимо Аси. Не оглядываясь. Прямой, длинный, в тёмно-синем костюме, пахнущем нафталином.

Дверь за ним закрылась. Тихо. Без хлопка.

В зале стало так тихо, что тётя Галя услышала, как тикают часы на стене — пластмассовые, с кукушкой, которая никогда не куковала.

— Ну, — сказала Римма Аркадьевна. Неуверенно. — Ну… в таком случае… регистрация не может быть проведена.

Тётя Галя стояла у стола. В сером платье из маминого льна. С голубыми цветами у горла. С маленьким карманом на груди, в который она так ничего и не положила.

Потом сказала:

— Понятно.

И пошла к выходу.

Кукушкины бросились было за ней. Тётя Галя подняла руку — не оборачиваясь, — и они остановились. Обе. Синхронно.

Она спустилась по лестнице. Вышла на крыльцо администрации. Снег всё шёл — крупный, мокрый, покровский. Площадь была белая, чистая, без единого следа, — только одна цепочка, длинная, широким шагом, уходила через площадь к озеру. Пахомовы следы. Их уже заметало.

Тётя Галя постояла. Посмотрела на следы. Потом повернулась в другую сторону и пошла домой. Через площадь. По Советской. Мимо торговых рядов. Мимо пекарни.

Варя потом рассказывала, что видела её из окна — Варя прибежала из загса раньше, чтобы снять каравай из печи. Тётя Галя шла по середине улицы, в сером платье, без пальто, без платка, под снегом. Маленькая. Прямая. Снег ложился ей на волосы, на плечи, на голубые цветы у ворота, и она его не стряхивала.

Дома она сняла платье. Аккуратно повесила его на плечики, расправила складки. Поставила чайник. Села у окна.

И замолчала.

Не на час. Не на вечер. Вообще.

Барсик пришёл, сел рядом, ждал. Она не сказала ему ни слова. Он подождал ещё. Потом, видимо, что-то понял — забрался к ней на колени и лёг, тяжёлый и тёплый, как грелка.

Через улицу в пекарне горел свет. Свадебный каравай остывал на полке у Вари в подвале — круглый, высокий, с двумя лебедями из теста на макушке. Варя потом не знала, что с ним делать. Резать — рука не поднималась. Выбрасывать — тем более. Опара Саввишна велела отдать отцу Никодиму, для трапезы. Отец Никодим взял, перекрестил и сказал: «Ничего. Не последний».

А в Чухломе в тот вечер все заметили одну странную вещь. Её трудно было объяснить, но заметили все — от Нины Петровны до айтишников с Затонной.

Стало тихо.

Как будто остановились часы, которые тикали так давно, что их перестали слышать. И только теперь, когда они встали, все вдруг поняли, сколько лет под них жили.

Глава 2. Рыба в газете

Первыми неладное заметили постояльцы.

В гостевом доме у тёти Гали в ту неделю жили трое: супружеская пара из Ярославля, приехавшая «за чухломским хлебом и тишиной», и одинокий мужчина из Москвы с ноутбуком, который всё время что-то печатал и вздыхал. Тишину они получили. Вот только не ту, за которой ехали.

— У вас всё в порядке? — осторожно спросила ярославская жена за завтраком на второй день.

Тётя Галя поставила перед ней сырники. Сметану. Варенье из морошки. Кивнула.

— Просто вчера вы нам рассказывали, где лучше смотреть закат, и про монастырь, и про вашего племянника, который на мосту работает, и про Нину Петровну, — сказала ярославская жена. — А сегодня… вы молчите.

Тётя Галя посмотрела на неё. Положила на стол бумажку. На бумажке было написано крупно, печатными буквами: «ЗАВТРАК ДО 10. УЖИН В 7. БАНЯ ПО ЧЕТВЕРГАМ». И ушла на кухню.

Ярославская жена потом сказала мужу, что у хозяйки, наверное, горе. Муж сказал, что, может, просто голос пропал, простуда, сейчас все болеют. Москвич с ноутбуком сказал, что это лучший гостевой дом, в котором он жил за последние пять лет, и что если бы хозяйка молчала с самого начала, он бы поставил ей десять звёзд из пяти.

Тётя Галя слышала это из кухни. Москвичу она в тот вечер положила в щи на одну ложку сметаны меньше.

* * *

К концу недели забеспокоилась вся Чухлома.

Это было похоже, сказал потом Матвей, на то, как в старых деревнях по утрам слушали петуха. Петух орёт — и никто не замечает. А один раз не заорал — и вся деревня до обеда ходит сама не своя, не понимая, чего ей не хватает.

Тётя Галя была петухом Чухломы. Сорок лет. Если на Затонной у кого-то отелилась корова — к обеду об этом знала Советская. Если Нина Петровна покрасилась — к вечеру это обсуждали на рынке. Если айтишники с Затонной опять вызвали пожарных, потому что опять пытались испечь хлеб, — тётя Галя рассказывала об этом каждому встречному с такими подробностями, что айтишники потом сами приходили к ней узнать, как всё было.

А теперь петух молчал.

Сёстры Кукушкины ходили к ней каждый день. Садились на кухне. Говорили. Вдвоём, как всегда, наперебой. Про погоду. Про цены на сахар. Про Римму Аркадьевну, которая, по слухам, вернулась в Галич и неделю никого не регистрировала, потому что «у неё травма». Про Колькину Зинку — тут сёстры переглянулись и замолчали на полуслове, обе разом.

Тётя Галя слушала. Наливала им чай. Кивала.

Но не говорила.

На пятый день Зоя Степановна вышла от неё на крыльцо и заплакала. Тоня Степановна обняла её. Так они и стояли на крыльце, две одинаковые старушки в одинаковых пальто, и плакали одинаково.

— Это ж как если бы озеро высохло, — сказала Зоя.

— Как если бы колокол не звонил, — сказала Тоня.

— Сорок лет она нас перебивала…

— …а теперь не перебивает.

— Это страшно, Тонечка.

— Страшно, Зоечка.

* * *

Варя пришла на шестой день. С караваем.

Она поставила каравай на стол — ржаной, тёмный, с трещинкой-крестом, ещё тёплый. Села напротив. Савву она оставила дома с Матвеем, и без сына на руках казалась какой-то непривычно лёгкой и одновременно потерянной — как будто не знала, куда деть руки.

— Тётя Галя, — сказала Варя. — Поешьте. Пожалуйста.

Тётя Галя посмотрела на каравай.

Она знала, что это за хлеб. В Чухломе все знали. Ржаной Варин хлеб — с тех самых пор, как она четыре года назад открыла Саввину пекарню, — мирил. Тех, кто поругался. Тех, кто обиделся. Тех, кто двадцать лет не разговаривал из-за немецкого сервиза. Съешь кусок — и обида уходит. Не сразу. Но уходит.

Тётя Галя не хотела, чтобы обида уходила.

Она это поняла вдруг, сидя за столом и глядя на тёмную корку. Не хотела. Обида была — как больной зуб: ноет, мешает, а всё-таки твоё. Своё. Его хоть потрогать можно языком. А если уйдёт — что останется? Пустота. Холодная, как то утро на площади, когда она стояла на крыльце администрации в сером платье и смотрела на цепочку следов, уходящих к озеру.

Тётя Галя отодвинула каравай. Аккуратно. На край стола.

Варя смотрела на неё. Долго. Потом кивнула.

— Понимаю, — сказала она. — Я не буду заставлять. — Помолчала. — Тётя Галя. Он каждое утро к вам приходит. Вы знаете?

Тётя Галя знала.

Каждое утро. В шесть. Ещё темно, ещё фонари на Советской горят жёлтым, ещё снег под ними синий. Пахом приходил с озера. В брезентовом плаще, в ушанке с одним опущенным ухом. Подходил к её крыльцу. Клал на ступеньку свёрток — рыбу, завёрнутую в газету «Чухломской вестник». Свежую, только что из лунки или из сети: окунь, плотва, лещ, однажды — щука, огромная, с зубами, как у собаки. Клал. Выпрямлялся. И стоял.

Тётя Галя видела его сквозь занавеску. Каждое утро. Она уже в пять не спала — ждала.

Он стоял перед закрытой дверью минуту. Две. Пять. Однажды — двадцать минут, и снег ложился ему на плечи, на ушанку, на бороду, а он не шевелился. Потом поднимал голову. Смотрел на окно — прямо на неё, как будто видел сквозь занавеску. Открывал рот.

И ничего.

Потом закрывал. Поворачивался. И уходил.

Рыбу тётя Галя забирала. Не пропадать же добру. Жарила постояльцам. Москвич с ноутбуком сказал, что такого леща не ел никогда в жизни, даже в ресторане на Патриарших.

— Он что-то хочет сказать, — тихо сказала Варя. — Вы же видите. Он не может.

Тётя Галя смотрела в окно.

Не может.

Одно слово. «Да». Две буквы. Мальчишка двухлетний говорит «да». Савва Варин в свой неполный год говорит «да» — правда, у него получается «дя», но смысл ясен. А восьмидесятишестилетний мужик, который на Масленице при всём городе сказал «сорок лет тебя люблю», — не может.

Значит, не хочет.

Значит, передумал. Испугался. Понял, что старый дурак, что смешно в восемьдесят шесть лет жениться на болтливой бабке, над которой вся Чухлома потешается. Понял — и не нашёл смелости сказать по-человечески. Взял и ушёл. Молча. Как и жил.

Тётя Галя взяла со стола карандаш. Бумажку — ту самую, с завтраком до десяти. Перевернула. Написала на обороте, крупно, нажимая так, что карандаш прорвал бумагу на букве «Т»:

«НЕ ХОЧЕТ — ПУСТЬ НЕ ХОДИТ».

Пододвинула Варе.

Варя прочитала. Подняла глаза. И ничего не сказала. Просто встала, забрала каравай — тётя Галя видела, что ей больно его забирать, — и ушла.

* * *

В пекарне, в подвале, у печи, Батон лежал на мешке с мукой и слушал, как Варя пересказывает Опаре Саввишне визит к тёте Гале.

Батону было сто двадцать два года. Он был рыжий, круглый, как каравай, с белыми усами и с голубой атласной лентой на шее, завязанной бантом. Ленту ему повязали летом. История была длинная, и Батон её никому не рассказывал, — но ленту не снимал никогда, даже на ночь. Рядом с ним, привалившись к его боку, дремал Сухарик — молодой дымчатый кот, который весной свалился в дежу к Опаре, вылез оттуда весь в тесте и с тех пор умел говорить. Правда, пока только одно слово. Зато к месту.

Опара Саввишна сидела над дежой по плечи. Пышная, тёмная, тестяная старушка с лицом, похожим на хорошо пропечённую корку, и с глазами-изюминами. Она жила в этой деже с девятьсот восьмого года. Савва Лаптев вывел её в Петербурге, в подвале у Филиппова, а потом привёз сюда, в Чухлому, и с тех пор она пережила и Савву, и революцию, и пятьдесят лет под замком в этом самом подвале, и много чего ещё. Пережила бы, наверное, и тётину-Галину обиду. Но вид у неё сейчас был озабоченный.

— «Не хочет — пусть не ходит», — повторила она за Варей. И покачала головой. Тесто на плечах заколыхалось. — Ох, Галька. Ох, дура.

— Опара Саввишна, он правда не может, — сказала Варя. — Я же видела. В загсе. Он хотел. У него лицо было… как будто его душат.

— Не в том дело, — сказал вдруг Батон.

Варя и Опара повернулись к нему.

— Не в том дело, — повторил кот. — Не в Гальке. Не в загсе. Не в «хочет — не хочет». — Он медленно поднял голову с лап. Янтарные глаза блеснули в свете печи. — Он не говорит. Совсем. Ни с кем. Я в субботу к нему на мостки ходил. Сидел рядом. Час. Он мне ни слова. А раньше хоть «здорово, Батон» говорил. Это ж три слова. Он мне их каждую субботу говорил. Сорок лет.

— Два, — машинально поправила Варя.

— Три, — сказал Батон. — «Здорово, Батон. Жив?» Три. Ну, четыре, если «жив» считать. Он считал. Он всё считал. — Кот прищурился. — А в эту субботу — ни одного. Сидит. Смотрит на озеро. И рот открывает. Как рыба. Вот так.

Батон открыл пасть и закрыл. Сухарик проснулся, посмотрел на него и тоже открыл и закрыл.

— Ты-то откуда знаешь, что не в Гальке дело? — спросила Опара.

Батон долго не отвечал.

— Я его маленьким помню, — сказал он наконец. — Пахома. Лет восьми. Зимой. Я тогда в подвале сидел, под замком. Вот у того окошка, — он кивнул в угол, где под самым сводом темнело маленькое зарешёченное окно, выходившее во двор. — Анисья, мать его, мне через решётку еду носила. И вот однажды ночью, в декабре, вижу — бежит. Через двор. Без платка, без валенок, по снегу. А на руках у неё — мальчишка. Мокрый. Синий. И не шевелится. А с него вода течёт, и на морозе прямо на лету в сосульки превращается. — Батон помолчал. — Она к решётке упала. На колени. И кричит — не мне, а туда, вниз, в подвал. «Опара Саввишна! Опара Саввишна, помоги!»

Варя медленно повернулась к деже.

Опара Саввишна молчала. Изюмины-глаза потемнели, будто их присыпало мукой.

— А дальше? — спросила Варя.

— А дальше она мне сказала: «Иди, рыжий. Наверх иди. Не твоё дело», — сказал Батон. — И я ушёл. — Он посмотрел на Опару. — Семьдесят восемь лет не спрашивал. А теперь спрашиваю. Что тогда было, Саввишна? Что ты ей сказала?

В подвале стало тихо. Только печь потрескивала, остывая после ночной выпечки.

Опара Саввишна смотрела на кота. Потом на Варю. Потом в огонь.

— Не моя тайна, — сказала она наконец. Тихо. — Анисьина. Она мне её через решётку отдала, семьдесят восемь лет назад, и велела никому не говорить. Покуда сам не скажет.

— Он не скажет, — сказала Варя. — Он не может говорить.

— Знаю, — сказала Опара Саввишна. — Оттого и болит.

И ушла в дежу. Целиком. С головой. Даже холст над ней не шелохнулся.

Батон лежал, глядя на дежу. Сухарик у него под боком зевнул, показав розовую пасть, и сказал своё единственное слово — тихо, сонно, ни к кому не обращаясь:

— Сносно.

— Ничего не сносно, — проворчал Батон. — Спи давай.

* * *

Открытка пришла в пятницу.

Её принесла почтальонша Люська, молодая, рыжая, на велосипеде с толстыми шинами, на котором она ездила и зимой, и летом. Люська обычно, отдав тёте Гале газету, задерживалась на крыльце минут на двадцать — тётя Галя ей рассказывала новости, Люська тёте Гале рассказывала новости, и обе расходились довольные, с полной сумкой. Теперь Люська отдала газету, постояла, переминаясь, на крыльце, поняла, что новостей не будет, вздохнула и протянула открытку.

— Вам, тёть Галь. Из Буя.

Тётя Галя взяла.

Открытка была дешёвая, глянцевая, с видом какого-то собора и надписью «Привет из Буя!» золотыми буквами. На обороте — почерк. Крупный, размашистый, с завитушками. С наклоном вправо, как будто буквы торопились куда-то бежать.

Тётя Галя этот почерк узнала бы с закрытыми глазами. В последний раз она видела его в семьдесят девятом году. На другой открытке. Тоже из Буя. Которую сожгла в печке.

«Галя, здравствуй.

Зина померла в мае. Рак. Я один теперь. Дети её меня не признают, да я и не прошу.

Слыхал от людей, ты так замуж и не вышла. Слыхал, что сорок лет говорила, будто я утонул. Это правильно. Я бы тоже так говорил.

Галя. Мне восемьдесят. Я дурак был. Всю жизнь дурак.

Приеду на Новый год. Если прогонишь — уйду. Если не прогонишь — тоже уйду, но позже.

Николай.

P.S. Гармонь цела. Помнишь "Подмосковные вечера"?»

Тётя Галя стояла на крыльце, держа открытку в руке. Люська всё ещё стояла рядом, переминаясь. Смотрела на тётю Галю круглыми глазами — она открытку, конечно, прочитала, пока везла: почтальонши всегда читают открытки, это все знают.

— Тёть Галь, — сказала Люська шёпотом. — Это ж… это ж тот самый? Который утонул?

Тётя Галя посмотрела на неё.

И впервые за десять дней открыла рот. Медленно. Как открывают дверь, которая долго была заперта и заржавела.

— Тот самый, — сказала она. Голос был хриплый, чужой, незнакомый. — Не утонул, паразит. Выплыл.

И закрыла за собой дверь.

Люська постояла на крыльце ещё минуту. Потом села на велосипед и поехала по Советской — быстро, яростно крутя педали, — и через полчаса о том, что Колька Ерохин, утопленник, едет на Новый год к Фёдоровне с гармонью, знала вся Чухлома. Включая Пахома.

Особенно Пахома.

Глава 3. Тетрадь в клеточку

Пахом пришёл в пекарню той же ночью.

Варя потом рассказывала, что сначала испугалась. Было два часа, она стояла у дежи, вымешивала пшеничное, Матвей спал наверху с Саввой. В подвале — тепло, тихо, только печь гудит. И вдруг — скрип на лестнице. Тяжёлый. Медленный. Ступенька за ступенькой.

Она обернулась — и увидела в дверном проёме сапоги. Резиновые, рыбацкие, до бедра. Потом плащ. Потом бороду.

Пахом спустился в подвал впервые за сорок с лишним лет. Последний раз он был тут, как потом выяснилось, мальчишкой, ещё до того, как подвал заколотили. Он остановился на последней ступеньке. Пригнул голову под низким сводом. Огляделся — на полки с медными формами, на мешки, на печь. На дежу.

Опара Саввишна поднялась над краем кадки. По плечи. Посмотрела на него.

— Пахомка, — сказала она. Тихо. Не удивлённо. Как будто ждала.

Пахом снял ушанку. Постоял, комкая её в руках. Потом подошёл к деже, тяжело, через весь подвал, и остановился перед ней. Огромный, сутулый, с мокрой от снега бородой.

И поклонился. В пояс. Как кланялись в деревнях сто лет назад.

Варя замерла с тестом в руках.

— Сам велишь? — спросила Опара. — Рассказать?

Пахом выпрямился. Кивнул.

— Ей?

Кивнул ещё раз.

Опара Саввишна долго смотрела на него. Изюмины-глаза блестели, будто влажные.

— Ох, Пахомка, — сказала она. — Ну иди. Веди её. Я подожду.

* * *

Тётю Галю в подвал привела Варя.

В три часа ночи. В пальто поверх ночной рубашки, в валенках на босу ногу, с платком, наспех повязанным поверх бигуди. Тётя Галя шла молча, сжав губы, и Варя, держа её под руку на скользкой Советской, чувствовала, как та дрожит. Не от холода.

— Он там? — спросила тётя Галя у крыльца пекарни. Первые слова за всю дорогу.

— Там.

Тётя Галя постояла. Поправила платок. Потом сказала:

— Ну и ладно. Пусть. Послушаю. Но прощать — не буду. Так и знай.

И первая пошла вниз.

Пахом сидел на мешке с мукой у печи. Батон лежал рядом с ним, на соседнем мешке, — рыжий, круглый, с голубым бантом. Сухарик примостился у Пахома на коленях. Пахом гладил его — огромной ладонью, медленно, по спине — и смотрел в огонь.

Когда тётя Галя появилась на лестнице, он встал. Сухарик скатился с колен.

Они смотрели друг на друга. Через весь подвал.

— Садись, Галька, — сказала Опара Саввишна из дежи. — В ногах правды нет. Ни у кого нет. Ни у тебя, ни у него.

Тётя Галя не села. Встала у лестницы, сложив руки на груди.

— Говори, — сказала она. Не Пахому. Опаре. — Раз позвала. Говори.

И Опара Саввишна стала рассказывать.

* * *

— В пятьдесят третьем году, — сказала Опара, — в декабре, лёд на озере встал рано. На Николу зимнего уже стоял. Тонкий ещё, тёмный, как стекло. Через него рыбу видно было. Мальчишки по нему бегали — запрещали им, драли, а они бегали. Что с них взять.

Тётя Галя молчала.

— А у Анисьи муж был, Никита, — продолжала Опара. — Рыбак. Пахомкин отец. Он с войны вернулся без двух пальцев, без зубов, весь посечённый, а рыбачить не бросил. Пел на льду. Анисья рассказывала: идёт на лёд и поёт. Голос у него был — на весь Галич слыхать. «Не шуми, мати зелёная дубравушка». «Ой, мороз, мороз». Рыба, говорил, на голос идёт. Мужики смеялись, а у него и правда клевало лучше всех. — Опара вздохнула. — В пятьдесят втором, весной, он под лёд ушёл. На ледоходе. Не нашли.

Пахом сидел на мешке, глядя в огонь. Не шевелился.

— А Пахомке было восемь, — сказала Опара. — И он стал на лёд ходить. На отцово место. Каждый день, после школы. Сядет у отцовой лунки и поёт. Отцовы песни. Мать его ругала, била, запирала — он через окно. Говорил: «Я папке пою. Ему там скучно».

У тёти Гали дрогнули губы. Она сжала их сильнее.

— Семнадцатого декабря, — сказала Опара, — лёд под ним проломился. На середине. Где глубже всего. Анисья видела с берега. Бельё на мостках полоскала, в проруби. Побежала. Легла на лёд, поползла. Доползла до полыньи. А там — чёрная вода. И никого.

В подвале стало совсем тихо. Даже печь, кажется, перестала потрескивать.

— Она руки в воду сунула, — сказала Опара Саввишна. — По плечи. И кричала. Не «помогите». Она кричала туда, вниз, под лёд: «Отдай! Отдай! Мужа взял — мальчишку отдай! Хозяин! Слышишь, Хозяин! Отдай!»

Тётя Галя медленно опустилась на ступеньку. Варя стояла у дежи, не дыша.

— И он отдал, — сказала Опара. — Вода вдруг вспухла, как тесто, — Анисья так говорила, — и вытолкнула его. Прямо ей в руки. Мокрого, синего, мёртвого. Она его на берег. Бегом. Через весь город. Сюда. К окошку. — Опара кивнула в угол, на маленькое зарешёченное окно под сводом. — Я тогда тут под замком сидела, двадцать два года уже, одна, с Батоном. Анисья к решётке упала, кричит: «Опара Саввишна, не дышит! Помоги!»

— И ты помогла, — сказал Батон. Тихо. Не вопросительно.

— Я ей себя дала, — сказала Опара. — Отщипнула. Через решётку. Горсть. Говорю — в рот возьми, разжуй, и в него — дыши. Хлебным духом. Хлеб — он живой. Он мёртвого не оживит, а того, кто ещё на краю, — удержит. — Она помолчала. — Анисья дышала. Минуту. Две. Пять. Я уже думала — всё. А потом он закашлял. Водой. Озером. Целым ведром. И открыл глаза.

Тётя Галя закрыла лицо руками.

— Только говорить не стал, — сказала Опара Саввишна. — Ни слова. Ни на следующий день, ни через неделю. Мать к фельдшеру — фельдшер говорит: испуг, пройдёт. Не проходит. Месяц. Два. А на Крещение Анисья пошла на озеро. К той полынье, которая уже давно замёрзла. Встала. И говорит: «Хозяин. Ты мальчишку отдал. Голос-то его где?»

Опара помолчала.

— И лёд ей ответил, — сказала она. — Треском. Длинным. От берега до берега. Анисья потом мне ночью пересказывала, дрожала вся, слова путала. Говорит, он сказал: «Мальчишку я тебе отдал. А голос — мой. Он мне пел. Хорошо пел, как отец. Я пятнадцать лет на этом озере песен не слыхал — мужиков война забрала, бабы на мостках не поют больше, тракторами всё гремит. А он пел. Голос его я себе оставлю. А слова — верну. По двести в год. По ледоставу. Пусть ходит ко мне каждое утро — забирать».

— Двести в год, — сказала Варя. Шёпотом.

— Двести в год, — повторила Опара. — Это он щедро ещё, Хозяин-то. Анисья торговалась. Он сперва сто давал.

Тётя Галя отняла руки от лица.

Она смотрела на Пахома. Он сидел на мешке у печи, сгорбившись, огромный, седой, в брезентовом плаще, — и не поднимал глаз. Сухарик снова забрался к нему на колени. Пахом не гладил его. Руки у него лежали на коленях, ладонями вверх. Пустые.

— Двести слов в год, — сказала тётя Галя. Медленно. Как будто пробовала эти слова на вкус. — Семьдесят восемь лет. По двести слов.

— А ты думала, чего он молчит? — сказала Опара. — Характер, думала? Бирюк, думала?

Тётя Галя думала. Сорок лет думала именно так.

— И считает, — сказала она. — Оттого и считает. «Считать надо точно». Всю жизнь — «считать надо точно».

Пахом поднял голову. Посмотрел на неё.

Потом сунул руку за пазуху. Под плащ, под свитер. И достал тетрадь.

* * *

Тетрадь была школьная. Тонкая, двенадцать листов, в клеточку, в синей обложке с таблицей умножения на обороте. Обложка истрепалась, углы загнулись и почернели. Тетрадь была перевязана бечёвкой — нет, не одна. Тётя Галя присмотрелась. Их было много, тетрадей. Целая пачка. Толстая, в палец. Перевязанная крест-накрест.

Пахом развязал бечёвку. Взял верхнюю тетрадь. Протянул тёте Гале.

Через весь подвал. Не вставая. Просто протянул руку — длинную, жилистую, — и держал на весу, пока тётя Галя не встала со ступеньки, не подошла и не взяла.

Тетрадь была последняя. Самая новая. На обложке синей ручкой, крупными печатными цифрами: «2020–».

Тётя Галя открыла.

Страницы были расчерчены на столбцы. Аккуратно, по линейке, карандашом. Год. Дадено. Сказано. Кому. Остаток. Цифры — мелкие, ровные, бухгалтерские. Кое-где — пометки. Одним словом. Иногда двумя.

Тётя Галя водила пальцем по строчкам.

«Ледостав. Дадено — 200».

«Батону. "Здорово. Жив?" — 3».

«Лаптевой, Варе. "Берёзу надо" и прочее, про дрова — 40».

«Лаптевой, Варе. Когда сердце. Про мать. Про Савву. — 2147. Долг — 11 лет».

Тётя Галя подняла глаза на Пахома. Он смотрел в огонь.

Она перевернула страницу.

«Гальке. "Здорово" — 1».

«Гальке. "Здорово" — 1».

«Гальке. "Бывай" — 1».

«Гальке. "Спасибо. Пирог хороший" — 3».

«Гальке. "Здорово" — 1».

Строчки шли и шли. Страница за страницей. «Гальке. Гальке. Гальке». Почти каждый день. По одному слову. По два. Больше не было — он экономил. Одно слово в день. Ей. Каждый день. Годами.

У тёти Гали задрожали руки.

Она перевернула ещё страницу. И ещё.

«Масленица. Льняник. Галине. — 31. Долг — 13 лет».

Галине. Не Гальке. Галине.

«Галине. "Галина" — 1». И снова: «Галине. "Галина" — 1». «Галине. "Галина" — 1». Весна. Лето. Каждый вечер. Одно слово. Её имя. Тётя Галя вспомнила — он приходил к ней каждый вечер в семь, садился на кухне, они пили чай, молча, два часа. А перед уходом он говорил: «Галина». Одно слово. Только имя. И уходил.

А она думала — ну вот, опять молчит. Бирюк. Мог бы и побольше сказать.

Последняя запись была сделана за неделю до Покрова. Другим карандашом — тупым, мягким, нажим такой, что бумага прорвалась.

«Остаток — ноль. Долг — 14 лет. Мне 86. Хозяин сказал: в долг больше не дам. Не доживёшь — не отдашь».

И ниже, совсем мелко, одно слово. Видимо, последнее, что у него было:

«Прости».

Тётя Галя стояла посреди подвала с тетрадью в руках. Варя потом не могла вспомнить, сколько, — может, минуту, может, десять.

Потом тётя Галя закрыла тетрадь. Аккуратно. Прижала к груди. Подошла к Пахому. Встала перед ним — маленькая, круглая, в пальто поверх ночной рубашки, в бигуди под платком.

Пахом поднял на неё глаза.

— Дурак ты, Пахом, — сказала тётя Галя. Голос у неё сорвался на середине и пошёл дальше уже какой-то другой, не её. — Дурак старый. Ты зачем на меня тратил? Ты зачем мне «здорово» говорил каждый день, а? Ты мне кивнул бы — я бы и так поняла. Зачем?

Пахом смотрел на неё. Молчал. Он не мог ответить. Даже если бы хотел.

Но тётя Галя и не ждала ответа. Она знала ответ. Он был в тетради. Сорок лет. Каждый день. По одному слову.

Она опустилась на мешок рядом с ним. Тяжело, неловко. Взяла его руку — огромную, холодную, с обветренными костяшками, — и положила себе на колени. Накрыла своими ладонями.

— А я тебе в загсе — «понятно», — сказала она. — И ушла. Как гордая. И бумажку Варьке написала. «Не хочет — пусть не ходит». — Она всхлипнула. — А ты каждое утро — рыбу. И стоишь. И рот открываешь. А сказать — нечем.

Пахом сжал её пальцы.

Батон на соседнем мешке отвернулся к стене. Демонстративно. С видом существа, которое за сто двадцать два года насмотрелось всякого и не собирается сейчас смотреть ещё и на это. Но правое ухо у него было повёрнуто назад.

* * *

— Ледостав скоро, — сказала Варя, когда тётя Галя немного успокоилась. — Через неделю, может, через две. Может, он… Хозяин… может, смилуется? Даст ему хоть немного? Двести слов?

Опара Саввишна покачала головой.

— Он ему четырнадцать лет вперёд выдал, — сказала она. — Нечем Пахомке отдавать. Восемьдесят шесть лет — это ж не шутки. Хозяин не дурак. Мёртвый долг не вернёт.

— А если попросить? — спросила Варя. — Как Анисья?

— Анисья ему сына его родного отдала б, если б понадобилось, — сказала Опара. — Мать. А кто теперь попросит?

Тётя Галя подняла голову.

Она сидела рядом с Пахомом на мешке, держа его руку в своих. Лицо у неё было мокрое, красное, бигуди сбились под платком набок. Но в глазах появилось что-то такое, от чего Варя, увидев, невольно отступила на шаг. Батон потом говорил, что видел такое выражение лишь однажды — у Анисьи. В пятьдесят третьем. У решётки.

— Я попрошу, — сказала тётя Галя.

Пахом резко повернулся к ней. Замотал головой. Сжал её пальцы так, что она охнула.

— Пусти, медведь, — сказала тётя Галя. — Пусти, говорю. Попрошу. — Она посмотрела на Опару. — Где он? Хозяин этот? Как с ним говорить?

Опара Саввишна долго молчала. Изюмины-глаза разглядывали тётю Галю с каким-то новым, задумчивым интересом. Как разглядывают тесто, которое вдруг начало подниматься там, где никто не ждал.

— На ледостав сходи, — сказала она наконец. — С ним вместе. — Кивок на Пахома. — Он каждый год в первое утро на новый лёд выходит. За словами. Хозяин ему там отдаёт. Сходи. Послушай. Может, и тебе что скажет.

— Скажет, — сказала тётя Галя. — Куда денется. А не скажет — я ему сама скажу. Я, знаешь, Саввишна, сказать умею.

Батон на своём мешке фыркнул. Громко. Отчётливо.

— Вот это, — сказал он в стену, — правда святая.

Глава 4. Ледостав

Озеро замёрзло в ночь на двадцать седьмое ноября. Тётя Галя узнала об этом раньше, чем проснулась.

Ей приснилось, что кто-то огромный ходит по крыше. Тяжело, медленно, с хрустом, как будто ломает сухие ветки. Она открыла глаза. В комнате было темно и холодно — печь прогорела, — а за окном стояла такая тишина, какой не бывает даже в первый снег. Мёртвая. Плотная. Как будто весь мир накрыли стеклянной банкой.

Она встала, подошла к окну.

Озера не было видно — до него от Советской было метров триста, за домами, за торговыми рядами. Но тётя Галя знала. Семьдесят шесть лет знала. Такая тишина бывает только раз в году — в ту ночь, когда вода перестаёт дышать.

На часах было без двадцати пять.

Тётя Галя оделась быстро, по-солдатски. Тёплые рейтузы. Две кофты. Пальто. Валенки с галошами. Пуховый платок, а поверх — ещё один, шерстяной. Рукавицы, связанные Аней из Асиной пряжи. Подумала — и сунула в карман на груди маленький кусочек ржаного, который Варя вчера дала ей «на всякий случай». В тот самый карман, который Ася пришила к свадебному платью и который она потом перешила на пальто. Сама. Ночью. Зачем — не знала. Просто показалось, что так надо.

На крыльце уже кто-то стоял.

Пахом.

Он стоял внизу, у ступенек, в плаще и ушанке, с пешнёй в руке — тяжёлой железной палкой с острым концом, которой проверяют лёд. Ждал. Сколько ждал — неизвестно. На ушанке лежал снег.

Он увидел её — и тётя Галя увидела, как у него дрогнуло лицо. Как будто он не верил, что она выйдет.

— Пошли, — сказала тётя Галя. — Чего стоишь. Показывай своего Хозяина.

* * *

Дом Пахома стоял на самом краю Чухломы, у воды. Тётя Галя никогда в нём не была. Никто не был — Пахом гостей не звал, а сами к нему не ходили: боязно. Чёрная бревенчатая изба, вросшая в землю по окна. Баня, покосившаяся на один бок, как старуха с больной ногой. Лодочный сарай. И мостки — длинные, деревянные, уходящие прямо в озеро.

Сейчас мостки уходили в лёд.

Тётя Галя остановилась на краю.

Лёд был чёрный. Не белый, не серый — чёрный, как печная заслонка. Гладкий, ровный, без единой снежинки: ночью был мороз, но снег не шёл, и новый лёд лежал голый, отполированный ветром. От берега до самого горизонта. Шесть вёрст. Где-то там, на том краю, в предрассветной темноте, едва угадывались белые стены монастыря.

А под льдом было видно дно.

Тётя Галя ахнула. У самого берега, на мелководье, лёд был прозрачный, как стекло в аптечном шкафу, и сквозь него, в свете фонарика, который Пахом зажёг и направил вниз, было видно всё. Песок. Камушки. Зелёные пряди водорослей, застывшие в неподвижной воде. Ракушки. Старая консервная банка. Стайка мелкой рыбёшки, замершей в толще, — живые, но сонные, они висели в воде, как ёлочные игрушки на невидимых нитках.

И пузыри. Белые, круглые, вмёрзшие в лёд целыми гроздьями — как будто кто-то внизу дышал всю ночь, а потом дыхание замёрзло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.